



Заоблачная леди куплетов

ЗВЕЗДА Мари Трубников. - 1998. - 5 стр. - с. 6.

Владимир ПРИХОДЬКО

Она могла еще петь. В этот день был объявлен концерт. Висели афиши: ВЕЛИКАНОВА. Она открыла шкаф, чтоб выбрать платье...

Помню, как-то мимоходом она посетовала, что в Москонцерте, где прошла творческая жизнь, сценический наряд не оплатили ни разу. Я заинтересовался, почему. Оказалось, оплачивали коллективам: оркестру, хору. И тем кто выступал с коллективом: Пыхе, Зыкиной. А ей или Капитолине Лазаренко, певицам-одиночкам, не платили и амортизацию.

Можно, конечно, добиться, чтоб платили. Для этого надо принести все свои платья, все туфли, десу (белье). Показать, в чем работаешь. Тогда они определяют: пять - семь рублей в месяц...

Это было ниже ее достоинства. А на сцене... «Не куплю себе заморские деликатесы, но на элегантно платье не поспешу». Лет двадцать ей шила Татьяна Евсеева из ателье на Кузнецком. А до этого долго-долго другая театральная портниха, тоже элитарная. Фамилия, правда, забылась.

В поздние годы у нее не было претензий к начальству. Сперва, достигнув пенсионного возраста, не то чтобы нуждалась, но ощущала неуверенность в завтрашнем дне. Потом - если не ошибаюсь, в 92-м - неожиданно получила *наградную*. По этому случаю ее вызвал Булгаков, директор Москонцерта (им она безгранично восхищалась: «Человек тонкий, умный, любит актеров»). Не знала зачем: сюрприз вышел. Время от времени ее приглашали на какой-нибудь просмотр молодежи: приезжайте, послушаем вместе. Вошла, увидела: все ей по-праздничному улыбаются, все сияют, столы сдвинуты, заставлены цветами, фруктами, шампанским. По ее словам, она в то время звездой быть перестала, взошли другие звезды, которые ее даже не знали. И она была счастлива. И что Ельцин подписал, и что получила президентскую: десять минимальных. Плюс своя. Да, это произошло поздно. Но лучше поздно...

Не про нее ли написано и спе-

то: «Я влюблен в Ваши гордые польские руки, в эту кровь голубых королей». Ее родители - выходцы из Польши. Мать, хорошего дворянского рода, научила всему: сидеть не горбясь, не жеманничать, не жестикулировать. Вести себя, как настоящая леди. Это значит: просто. Очень просто.

Впрочем, Гелене Марцелиевне претило, когда кичатся происхождением, какими-то «чистыми» кровями, таковыми, как известно, бывают только у собак. Ее отец, из крестьянской семьи, полулитовец, носил фамилию Великанис. У матери с ним была горячая романтическая любовь, матери пришлось разорвать с близкой родней, не одобрявшей этого выбора. В эпоху всеобщей социальной бури оказались в Москве.

Гелена родилась уже здесь. Крестили в польской церкви в Милютинском переулке (все советские годы, начиная с 27-го, носил имя польского эсдека Мархлевского). Там ее звонкий детский голосок звучал в хоре, прося защиты у Пана Бога. Но вскоре утратила польскость, забыла речь. Обрусела.

Эта та же церковь (по-польски костел), где крестили великого поэта Владислава Ходасевича, и он, младенец, при погружении в купель, совершенно отчетливо показал ксендзу нос. А после воскликнул - покаянно - в стихах о матери, грезившей о Польше, о польском: «Мама, все я забыл!» И признался в любви к единственной и неповторимой России, единственной и неповторимой Москве. Геля повторяла не раз: «Я человек, для которого Россия - самодостаточный мир. Я русская. Я люблю здесь все и всех».

И добавляла со страстью: «Кроме антисемитов!»

Она впоследствии ткнулась в свой костел - поставить свечку брату (у нее было два брата: один, летчик, сгорел заживо в разбившемся самолете, другой страдал сильнейшей гипертонией и покончил с собой в ужасе перед инсульт и неподвижностью). Костел был заперт на амбарный замок: там был уже не молитвенный дом, а склад. Хорошо, что подруга из Смоленска познакомила ее со своим другом - митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Мудрый священнослу-

житель разрешил проблему, сказав примерно то же, что написано у Якова Полонского в драме «Разлад»: «... Распятому Христу / Не русские и не поляки нужны, / А братья - дети одного отца / Небесного». С тех пор она без смущения посещала православную церковь. Не все ли равно, где молиться?..

Это было уже в 70-е годы. Когда тоже хватало сложностей, но других. А в детстве все шло с изломом, надломом. Скандировали интернациональные лозунги, но всякая особа могла стать роковой. Тем более, что на Польшу только что ходили походом. И повторяли с пошлым бахвальством: «Помнят польские паны... конармейские наши клинки». Прихожане костела в Милютинском знали девочку-певунью в лицо. Нищие кричали: «Вон идет Хля!» Она боялась: узнают, что пела в церкви, выбросят из школы.

Обошлось. На всякий случай учительнице сказала, что она не Хля, а Геля (сестра, кончая техникум, даже написала вместо «Марцелиевна» - «Михайловна»). Это много позже Эдита Пыха сделала польский акцент частью образа. У Великановой в подсознании застряли детские страхи. Дурочка-трусиха (так определяла свое отрочество) стремилась быть, как все. В 70-е годы впервые приехала в Варшаву, вошла в костел. Разрыдалась. Не потому, что почувствовала себя полькой. Просто вспомнила очень трудное, очень бедное детство. Маму. Отца. Все как-то нахлынуло. Вышла на сцену с опухшим лицом.

Она окончила 281-ю школу в Уланском переулке. Перед самой войной. Вспоминала: «Наши мальчики в большинстве погибли; девочки живы. Таких патриотов, как мы, нынче не найдешь. Мы не разделяли родину и государство. Мы долго не понимали советского уродства. Глаза открывались понемногу, с конца сороковых годов».

Замужем была дважды. Первый муж - поэт Николай Доризо. Сверстник. С покладистым, мягким характером. Не знаю, был ли брак удачен. Тем, что ёрники называют «жопис» (жены писателей), Великанова явно не стала. И я ее в том не виню. С Доризо у нее родилась Елена, единственный ребенок, ныне блестящая переводчица с английского.

Второй муж - режиссер-оператор документального кино, с ним не разошлась, а развелась, оставаясь, по ее словам, в товарищеских отношениях вплоть до его смерти.

Главная же любовь - известный композитор, песни которого пела, имя которого публике не открывала, утаить от артистической тусовки не сумела. Этот роман то вспыхивал, то затихал, то разгорался с новой силой. Существовал всегда, всю жизнь. Как канва жизни. Были отступления, в том числе отступления в форме замужества: когда выходила замуж, понимала, что ненадолго, что вернется к своей главной любви. Говорила: «Я ничего не могла с собой поделать! Это чувство умрет только со мной».

Трудно сказать, все ли здесь

правда. Я верю. В то же время она вздыхала, что выйти замуж за мужчину своей жизни, даже если был бы свободен, не хочет, не уживется. Потому что он, как и она, нервный, норовистый.

Постепенно в наши разговоры вплелся мотив возраста. Одна сочинительница авангардистской музыки сказала, что не представляет себя в постели с мужчиной старше сорока. Да еще и вынесла приговор: «После сорока любовь некрасивая». Великанова аж задохнулась от негодования: с горячностью внушала авангардистке, что та еще вспомнит свою легковесную опрометчивость. Что мужчина всегда моложе женщины. Что всякий - хоть восьмидесятилетний (!) - способен дать эротическую радость, утешить, осчастливить. Что возраст любви не кончается.

Невыездной она была долго. Не по политическому навету. По женской неприступности. Все происходило так. Чиновник из министерства предлагает поездку в капстрану. И, в нагрузку, свои объятия. Она наеживается. Едет другая. Эта банальная ситуация осмыслилась ею без ханжества: «Я не осуждаю никого. Ведь тот, с кем я в это время кручу романчик, ничтожество в сравнении с тем, влиятельным... Мне надо бы стыдиться моей связи. И я еще застыжусь... Но это моя прихоть, мой порыв. Я даже завидую актрисе, которая способна переступить через себя. Добродетель приходит, когда ты никому не нужна, а раньше жизнь предлагала соблазн за соблазном».

В карьере ей также вредило, что не пристрастилась к спиртному. Вот, говорила, идет конкурс. Жажда понравиться. Все собираются, пьют со страшной силой. Они мне все делают противны, я сижу скучная, занудливая, замкнутая. Не вписываюсь. Не нравлюсь. Под мухой на сцену не вышла ни разу: «И жалею, что не вышла. Помешало бы? Помогло? Некоторые делают это постоянно и прекрасно работают».

Называла матершину эвфемизмом «фольклор»: «Есть артистки, что лихо пользуются «фольклором» - к месту и таким шармом-шиком, что мне даже нравится. Но нравятся очень редко. Когда матом пересыпана речь, я теряюсь. Мечтаю сказать, например, Маше Распутиной: доченька моя, пой, но ничего не произноси. Знаю: это великолепная разрядка. Схалтурившим оркестрантам пригрозила: хотелось бы вас послать подальше, вот была б на моем месте Оля Воронец, она бы сказала, кто вы такие. И они были довольны, ликовали».

Не давала начальству, не пила, не матершинница - так объясняла свое одиночество в эстрадной среде.

Впервые за границу поехала по линии ЦДСА. С армейскими на всю жизнь сложилась отличная дружба. Здесь были самые пылкие поклонники. Пела в Сочи, в санатории подводников. Директор клуба пришел за кулисы с группой пригожих моряков. Мялись, как школьники. Директор сказал: «У них к вам один вопрос». «Знаю,

какой: сколько мне лет». - «Да, Гелечка». - «Скажите, что за мной можно ухаживать».

И ухаживали, и влюблялись. До самого конца.

Меня с Великановой познакомил Борис Шапиро, талантливый композитор, впоследствии, увы, переехавший в Нью-Йорк. Он в 1972-1975 годах написал на мои слова несколько песен. На пластинку попала одна - «Лубяная колыбель». Пел Лев Лещенко. А Великанова исполняла в авторских концертах Бориса «Под солнцем пляшет девочка», «А мальчики становятся солдатами», «Белый снег» («Помнишь, плыл он над первым свиданьем и над первой разлукой парил»). В Москве, в глубинке.

Потом, в 90-м, мы встретились на обеде: обед устроил Борис, приехавший в Москву погостить. А вслед за этим я попытался рассказать о ней - с благодарностью, любовью. Написал как умел вот что:

«В биографической мозаике поколения, а поколение это четверть века, Великанова, народная артистка, - живой трепещущий цветок. Ампула, образ, не привыкну к слову «имидж», - подоблачная леди куплетов с высоким чистым голосом. Никакого заискивания, подмигивания публике. Или, извините, выхляпывая жадом. Хотя песня может быть шуточная. И с пританцовкой - танго, вальсок. А все равно достоинство, дистанция. Заледенелый клен. Свеча, горящая в морозном панцире».

Великанова тут же, с оказией, отослала газету с заметкой в Нью-Йорк нашему общему другу Борису Шапиро. Написала фото: «*Воодушевленные! С нежностью, с самыми добрыми пожеланиями! Ваша Геля. 19.XII.95 г.*». Но затем какая-то завистница сказала ей, что «подоблачная леди куплетов» (по аналогии с шекспировской «леди сонетов», а из куплетов сложена песня) ее «понижает».

Она поверила. Огорчительно, но что сделаешь.

Великанова не оставила, как Надежда Плевицкая, мемуаров. Не собирала архива: только самые дорогие отзывы. Утесов, Окуджав. Ее лучшим творческим периодом была послесталинская оттепель, потом ее отпустили молодые. Она боготворила Пугачеву, называла Кобзона великим. Когда на коллегии министерства, где иногда бывала, поносили Высоцкого, сказала: «Вы же сами на даче слушаете эти песни!». Министр Михайлов оборвал ее: «Не забывайте, Гелена Марцелиевна». Она искала новые пути в песне, создавала литературно-музыкальные композиции, моноспектакли. Но в памяти у публики осталась с фельдмановскими ландышами, шлягером 50-х годов. На доме 11/13 по Большому Афанасьевскому переулку будет мемориальная доска в ее честь.

Она могла еще петь... Но жить не могла. Сердце остановилось.

Теперь она не подоблачная, а заоблачная леди...

